

мир книги



Писатель вспоминает — Достоевский в иллюстрации — Наследие С. Трубецкого

Иван ШАМЯКИН,
Герой Социалистического Труда,
народный писатель Белоруссии

Повесть о друге

В ноябре этого года известному советскому драматургу Андрею Макаёнку исполнилось бы шестьдесят три года. Андрей был комедиографом в полном смысле этого слова. В комедиях его — море искрометного смеха, но при этом проблемы очень серьезные — о жизни, о войне, о мире. Нас с Андреем связывали тридцать пять лет дружбы. Боль и печаль от потери друга не заживают. И, знаю, долго не заживут. Я посчитал своим долгом написать о нем. Это не просто воспоминания о наших встречах — это, по существу, повесть о его жизни, яркой, бурной. О радостях, болях, удачах и разочарованиях человека талантливого, яркого. Это и расказ о времени, в котором жило и в котором формировалось наше поколение.

ГЛАВА ИЗ ПОВЕСТИ

рей «По долинам и по взгорьям».

Седые члены комиссии покатались со смеху. Андрей, не допев, покинул экзамены.

ПОТОМ была служба в армии. Война. Многие потеряли не только фронтовых друзей, но и родителей, братьев, детей. Но я мало встречал людей, которые рассказывали бы о гибели товарищей с такой болью, как Андрей. Это, наверное, было единственным воспоминанием, где не было места его неистощимому юмору. Хотя и о войне он написал комедию, но трагическую. И сам Андрей, и все мы считали, что самое трудное — написать о войне так, чтобы люди смеялись... Сначала смеялись, а потом плакали.

На «Трибунале» смеются и плачут. Всегда.

Много раз я просил Андрея, умолял его записать воспоминания о крымском десанте. Он соглашался, что да, надо, но так и не написал. Андрей был своеобразным писателем, таких немало среди хороших поэтов: он прекрасно писал комедии, но проза ему давалась тяжело, а над статьями он просто мучился.

Вышли книги писательских автобиографий, ни в одну из них он не написал, а в личном деле члена Союза писателей автобиография — всего на полстраницы. О войне в ней два предложения: «В 1939 г. призван в Красную Армию, где прослужил до 1942 года. В этом же году демобилизован по ранению».

...Предчувствие катастрофы пришло задолго до того, как она стряслась. Андрей говорил, что они со своим другом-командиром, с ровесником и единомышленником, поняли, что уже запахло большой кровью, когда февральское наступление захлебнулось и десанту пришлось закапываться в промозглую землю голой крымской степи.

Март был не по-крымски суров: рано растаяла земля — грязь по колено, но было холодно и дождливо. В это время фашисты начали методический артиллерийско-минометный обстрел наших позиций. И мужество советских воинов, как и всюду, ошеломляло врагов.

В дождливый апрельский день роту подняли в наступление. Но огонь прижал бойцов к земле. Иван и Андрей — командир и комиссар, которые бежали рядом, упали в соседние воронки, полные весенней воды. Да что вода, когда тебе только двадцать один и очень хочется жить! Воронки были так близко одна от другой, что друзья переговаривались под

свист пуль, разрывы мин. Лежали долго — голову поднять было невозможно. Поняли, что очутились в такой зоне и под таким огнем, что лежать придется до следующей ночи.

И вдруг голос связиста: — Командир роты, на провод! Вызывает командир полка!

— Ваня! Не вылезай! Не вылезай!

Но Ваня вылез из воронки. Пополз.

Сразу же вокруг ползущего брызнули фонтанчики грязи, и командир роты уткнулся в землю головой.

Политрук двинулся к другу — а вдруг только ранен? Притащил его в ту же воронку, из которой еще мгновение назад младший лейтенант подавал команды.

Командир был убит. Пули попали в шею и голову.

Фашисты начали прицельный минометный огонь.

Политрук понял, что его засекли. Не могли на вражеском командном пункте не видеть, как выполз из воронки один русский, как кинулся к нему второй. Поняли, что этот, второй, остался живым. Наверное, сообразили, что дело имеют с командиром.

Прижимаясь к мертвому другу, Андрей понимал — единственное спасение, если не будет прямого попадания. И похоже — пронесло. Взрывы отдалились.

Нет, не пронесло. Так часто бывает на войне; только показалось, что главная опасность миновала, прилетела пуля, мина, которую называли пальной...

Мина вздыбила землю у самой воронки, в ногах, обляпала грязью и живого, и мертвого.

Еще раз пронесло? Нет. В промерзших сапогах потеплело. Осколки посекали ноги. Уже нет сил приподняться, чтобы разуться, перевязать раны.

Только на следующее утро подобрали санитары раненого политрука. А бойцы похоронили командира роты.

Во фронтовом госпитале законы были суровы. Прошагал главный хирург по длинной палатке, где лежала сотня искалеченных, осмотрел раны (в тех условиях вдаваться в детали не было времени, главное — спасти людей), изрек беспощадный приговор: — Ампутация!

Обдало жаром: в двадцать один год — без ног? Всплыла страшная мысль. А осуществить ее не хитро: в полевой сумке лежал трофейный «вальтер» — друг Ваня подарил, словно знал, для чего дарит. Пусть только отойдут врачи, сестры... Но все существо кричало: жить, жить!

В образе седенького хирурга пришло спасительное решение. Старик отстал от группы врачей, вернулся, шепнул:

— Сынок! Гангрены у тебя нет пока что. Ноги можно спасти!

— Спасибо, отец! Спасибо. Меня не так-то просто взять даже здоровенным санитарам.

А они тут как тут — санитары. Но за эти минуты «вальтер» тихонько из планшета переключал в руку под одеялом. А рука еще крепкая.

Показал людям с носилками «трофей».

— Ампутировать не дам. Попробуйте взять силой — буду стрелять.

ЧП в госпитале! Переполох, шум. Прибежали начальник госпиталя, комиссар:

— Сдать оружие, политрук! Не выкидывать номеров! А то пойдем под трибунал!

— Ноги не дам! И я не шу-чу.

...Отступило начальство. «Покордовал» над Андреем старый врач. Предложил сделать укол.

— Буду спать?

— Будешь.

— Не надо.

— Характер! Все равно ведь уснешь. Крови много потерял. Не бойся. Без меня ноги твои не тронут.

Поверил. (Он легко верил людям не только в двадцать, а и в шестьдесят).

На второй день поутру пришел комиссар совсем в другом настроении:

— Ну что, герой? Воюешь?

— Ноги не дам!

— Никто не трогает твои ноги! Собирайся!

— Куда?

— Полетишь в тыл.

— На чем?

— На чем летают? На самолете.

— Для меня — самолет?!

— Тебе повезло. Ночью из немецкого тыла вывели командира диверсионной группы. Попробуете прорваться через пролив днем. До ночи ждать нельзя.

— Покада не придет Александр Павлович и не скажет сам, санитаров не подпущу.

— Откуда ты такой герой взялся? Ты думаешь — нам ноги твои нужны. Ты нам нужен, боевой командир!

В Краснодаре ноги ему спасли. Но на всю жизнь осталось в ступнях тринадцать осколков. Чертова дюжина!

Андрей с благодарностью вспоминал своих военных врачей. И того, крымского, седого «дядю Сашу»... Снова обидно, что я не запомнил его фамилию, а может быть, и сам Андрей не успел узнать ее. Что-то я не припоминаю, чтобы он называл его по фамилии. А второго, краснодарского, который выдержал бой с коллегами, чтобы спасти юному политруку ноги, фамилию этого врача я запомнил — простая, украинская: Лаботенко.

О нем Андрей рассказывал много и влюбленно. Человек этот был очарован своей родной «ненькою» — Украиной. Еще любил он литературу. И угадал в юном хлопце-белорусе душу родную, артистичную. Книг в госпитале было мало, а Лаботенко знал наизусть всю «Энеиду» Котляревского. Прочитал отрывок бойцам. Пришел на обход в следующий раз, а этот же отрывок, с чуть заметным акцентом, но ярче, по-актерски читал Макаёнок. На этом сошлись и крепко подружились.

Перевела с белорусского
Т. АБАКУМОВСКАЯ.

ВЧЕРА неожиданно пришел ко мне Иван Макаёнок. Они очень похожи, братья Иван и Андрей. И уже это всколыхнуло в душе все, что, казалось, начало оседать.

В облике и в характере Макаёнков есть что-то цыганское. Сильная воля, решительность, смелость, веселость, безоглядность, но вместе с тем какая-то удивительная поэтическая легкость, какая-то своеобразная доброта — та доброта, которая нередко переходит в противоположность — порой в жестокость, порой в излишнее сострадание, похожее на некий дальтонизм, когда не отличаются оттенки разных красок.

Наверное, я делаю ошибку, наделяя этими качествами всех их, даже и того, кого я не видел, не знаю, — отца.

Егор Сергеевич был сельским активистом с первых лет Советской власти. Бедняк с покаленной на первой мировой рукой, он сразу включился в нелегкую и противоречивую для селянина того времени борьбу за новую жизнь. Был он человеком волевым, бескомпромиссным. А там, где требовалось отстаивать партийные принципы, свои убеждения, — безжалостным. Андрей и Иван говорили не с осуждением и скорее с похвалой: батка был жестоким. Избранный председателем колхоза, отец перво-наперво приказал всем родным работать в коллективе на полную катушку. Старший Андрей пас свиней и овец. Нашлась работа и младшим. Андрей помнил, как отец, отправляя его в подпаски, сказал: «Люди не должны говорить, что председателиские дети не робят. Понятно, сынок?».

Малая грамота не позволила Егору подняться до руководителя крупного масштаба. Понимая, как важно быть образованным, он, видя, что его старший хорошо учится и к тому же умеет рисовать, посылает сына после семилетки в Рогачев, в педтехникум.

Андрей с юмором рассказывал про эти месяцы своей вольной жизни. Квартировал он в многодетной семье, глава которой давно дружил с Егором Макаёнком.

Приехала как-то навещать сына мать, переночевала и не выдержала... атаки клопов. Со слезами: «Сыночек, как же ты живешь!» и со страхом перед отцовым гневом все же забрала хлопца домой.

Последние два года учебы в журовической школе были безоблачно-счастливыми: первые увлечения поэзией, живописью, театром.

— Беда была в моей самоуверенности, — говорил он. — Казалось, что я уже артист, готовый, законченный.

И вот приемные экзамены в Московском театральном училище.

— Прочтите.

— Что прочитать? Книжки ведь никакой не дали.

— Что знаете.

— Ах, наизусть?

Улыбаются члены комиссии. А из головы все, что знал, улетучилось. Вспомнил «Курган» купаловский. Так по-белорусски и стал читать.

— Спойте.

Он и тогда, в юности, умел мастерски рассказывать, а петь... Разве что при случае мог «врезаться» разудалую частушку. А из серьезных песен все мы тогда пели революционные да песни гражданской. Вот и затянул Анд-